

Георг Зиммель

Внутреннее преобразование Германии

Речь, произнесенная в зале Обетт ^[1] в Страсбурге 7 ноября 1914 года

При объявлении этой войны каждая душа в Германии была, наверное, охвачена потрясением, в сравнении с которым померкло всё, что довелось ранее испытать даже самому богатому жизненным опытом человеку. Какой бы напор обстоятельств и какое бы напряжение ни случилось ему изведать прежде, каких бы ударов судьбы он не перенес и сколько бы решимости не выказал при этом, — всё вдруг стало выглядеть бледным и узким. Примерно так, должно быть, было на душе у людей около 1000-го года нашей эры, когда ждали прихода конца света и никто не ведал, проклят он будет или спасен. С тех пор то, что первоначально потрясло нас как смутное и могучее чувство, успело проясниться и стать мыслью, уже выраженной во многих формах: что та Германия, в которой мы выросли и стали тем, чем мы стали, сгинула, как сон, и что наше будущее существование, каким бы ни был исход совершающихся сейчас событий, будет связано с какой-то другой Германией. Никто не рискнет утверждать положительно, каковы будут ее формы и содержание; но, пожалуй именно потому, что мы ничего не можем ответить на вопрос «каковы?» и знаем определенно только то, что некий поворот *совершился*, нами тем сильнее, тем всеохватнее завладевает эта, так сказать, недифференцированная идея: из настоящей войны выйдет иная Германия, чем та, какой она вошла в эту войну. Молодость не способна со всей глубиной ощутить свою собственную силу и ту жизненную значимость, какую она наделена; у молодых слишком мало прошедшего, которое их определяет; приобретенного ими жизненного материала слишком недостаточно для того, чтобы срастись с теми условиями, в которых был приобретен этот материал; молодежь будет развиваться, сходным образом приурочиваясь к новому базису. Но для нас, старших, вся жизнь которых сформировалась в эпоху после 1870 года, между *когда-то* и *будущим* лежит неизмеримая пропасть, и мы стоим перед нею словно перед решением: еще раз выстроить жизнь на новых предпосылках и в новой атмосфере или, если сил для этого не достанет, погибнуть в полной дезориентации, как ненужный обломок прошлого. Мы знаем лишь то, что даже наш величайший успех не сможет сделать простым несказанно трудный и дифференцированный, чреватый многими сложностями процесс возрождения былой Германии; та неведомая Германия, какую обещает этот процесс, будет во всяком случае иной. И это более или менее отчетливое сознание того, *что Германия вновь брошена в плавильный тигель*, способно объяснить безмерное потрясение этих дней, пожалуй, более глубинным образом, чем ощущение непосредственной военной и политической опасности.

Это преобразование началось с заново почувствованного ощущения связи между отдельным человеком и всей нацией. Многие из нас, пожалуй, теоретически знали следующее: в существовании индивида только ограниченная часть является действительно индивидуальным достоянием, имеющим свою основу в себе самом. В спокойной повседневности это не осознается со всей решительностью, потому что в такие времена имеет практический интерес и важность только то, что *отличает* людей друг от друга. Лишь тогда, когда сильные удары колеблют *само собою разумеющееся* общее основание, оно становится ощутимым. Тогда узнаешь: если общее основание рвется и снова складывается в новые образования, то новой становится не просто какая-то ограниченная часть твоего личного существования; нет, у тебя есть только *одно* существование, в котором самое индивидуальное и самое общее в каждой точке взаимопроникают одно другое и становятся жизненным единством. В том, что исчезает механическое разделение обеих составляющих, состоит одно из величайших достижений этого великого времени, и благодаря тому вновь делается ощутимым *органический* характер нашего существа. Только долгие периоды без глубоких встрясок позволяют утвердиться механическому воззрению, согласно которому «общее» и «свое собственное» существуют каждое само по себе, будто бы они были пространственно разделены. Эпохи, когда эти абстрактные и искусственные разделения уничтожаются потрясениями жизненной основы, исполнены целостности и величия жизни. Они обозначают поворотные точки, с которых начинается новая организация жизни, изменение ее *в целом*; и не так уж существенно то, что в отдаленном будущем эти новые формы, вероятно, тоже подвергнутся механическому оцепенению и расчленению — и новый плавильный процесс станет историческим требованием. Обыкновенно взаимосвязь между отдельным человеком и целым осуществляется благодаря разделению труда: один создает такие-то результаты работы или такие-то значения, другой другие, а потому всякий нуждается в том, чтобы быть восполненным другим; благодаря ответственности за результаты своей собственной работы и благодаря обмену такими результатами, охватывающему всю жизнь нации, каждый отдельный знал о своей связи с целым. Эта связь, конечно, продолжает существовать и дальше, однако в эти дни нами овладело ощущение единства совсем иного рода: не на путях дифференцированной работы или существования, а совершенно *непосредственно* отдельный человек вдруг вступил в целое и ощущает свою ответственность за это целое. Жизнь стала сейчас такой великой и тяжелой именно оттого, что за всякой мыслью и чувством стоит сверхиндивидуальная целостность. Эта общность — не просто сплетение многих единичных существ и их единичных сил, но в то же время и не что-то лежащее за пределами отдельных существований (как изображают это, отчасти верно, некоторые изощренные социальные теории). Нет, в нашем сегодняшнем переживании в

совершенно новой степени, благодаря новому роду ответственности и готовности к жертвам, становится зримым новое отношение между индивидуумом и общностью, — определяющие его понятия сложны и противоречивы, но наглядным и чистейшим его выражением является боец на поле сражения: рамки его самой что ни на есть индивидуальной жизни до краев переполнены *целым*. Единичное и целое больше не являют по отношению друг к другу чего-то запредельного, так что даже «самоотдача» тут не есть достаточно точное слово: ведь не требуется *отдавать себя* там, где чувство изначально нераздельно.

Что тем самым уничтожаются старые разделения между партиями и конфессиями, между индивидами и группами, преследовавшими прежде свои отдельные интересы, — это мы видели сами, приняли это с изумлением и в то же время как нечто само собой разумеющееся. Вряд ли кто-то поверит в то, что сегодняшнее единство — это форма, способная существовать долго, всегда, — нет, во всех областях новой Германии должны быть и будут разные партии. Где будут проходить их разделительные линии, мы не знаем, но знаем одно: они будут проходить иначе, чем до сих пор. Ибо направление этих линий должно будет определяться (или соопределяться) тем, что они исходят из единой, *однажды* все-таки достигнутой точки единства и безусловной солидарности.

Таким образом, если никто сегодня не может сказать, как будет выглядеть будущая, иная Германия, но может сказать лишь то, что она будет выглядеть по-другому, то именно это *незнающее* знание и есть первый признак того, что мы стоим на повороте времен. Ведь если мы в состоянии вычислить будущее, это значит, что будущее макроскопически уже заложено в настоящем или что его можно сконструировать, словно механизм, из частей настоящего. Но там, где время действительно хочет обновиться, там кирпичи будущего лежат в настоящем до нераспознаваемости глубоко зарытыми, там речь может идти только о преобразовании, обусловленном метаморфозами самой *жизни*, и никто не может его заранее вычислить. Поэтому мы и ощущаем с такою силой, что мы сейчас переживаем историю, то есть нечто единократное; любые сравнения с прошлым тут хромают. Ибо то, что в переживаемом событии, будь оно большим или малым, действительно является историей, — это рождение чего-то, чего не было раньше, это поворот мирового духа к мысли, которой он не мог бы постигнуть на пути ассоциативной психологии. Каждому вдруг становится понятно, до какой степени жили мы прежде в не-историческом; либо, как существа-однодневки, во всем том, что с легкими вариациями заполняет будничную жизнь: голод и любовь, работа и успех, радости и страдания нашей бренности; либо, как создания более духовного порядка, мы жили во вневременном. Мы находились либо ниже уровня собственно *исторического*, либо выше этого уровня. Но сейчас наше сознание сорвано с места и устремлено в ту точку, где действительно совершается поворот и преображение — от окончательно прошедшего к

нерожденному новому, — в ту точку, где мы действительно переживаем историю, то есть часть единожды совершающегося мирового процесса. А потому мы знаем: жизнь станет другою.

Следовательно, даже в откровенно субъективных предположениях мы можем рассуждать исключительно отрицательным образом: что того или другого больше не будет существовать, когда минет это время; а чтобы мысли не расплывались, приходится ограничить себя попыткой отыскать внутренне-сокровенное в его привязке к внешним фактам. Германия выйдет из этой войны сравнительно бедной — даже если счастливый исход вернет ей миллиарды. Не поддается учету, сколько всего рухнуло уже на сегодняшний день в индустрии, в торговом обороте, сколько пошло крахом организаций и предприятий — основательных или рискованных, а также сколько потеряно из-за остановки заводов. То, что все мы сейчас сосредоточены единственно на мысли «война и победа», пока еще (по счастью) не позволяет нам тратить время на исчисление потерь. Я убежден, они превысят любой масштаб, каким мы попытались бы сегодня их измерить. И несмотря на всю убежденность в том, что мы достаточно здоровы и сильны, чтобы вновь возродить нашу экономику, это все равно потребует большого времени. Прибавим сюда и европейскую ненависть, которая будет неизбежным следствием этой войны — даже если эта ненависть не будет направлена только и исключительно на нас, а, напротив, расколется надвое лагерь врагов, сейчас сплотившихся против нас (я убежден, что это так и будет); прибавим и кризисы во всех концах мировой экономики. Всё это никак не ускорит залечивание ран нашего хозяйства, и денежными репарациями их тоже сегодня-завтра не залечишь.

Но внутренняя сторона этого ущерба легко могла бы обратиться в выигрыш. В последние годы у нас возобладало явление, которое я бы обозначил как маммонизм. Я подразумеваю под этим не то явление, которое, по-видимому, неизбежно в любом обществе, вышедшем из состояния варварства: что деньги, являющиеся средством к удовлетворению почти всех человеческих желаний («средством» в самом общем смысле слова), превращаются для людей в конечную ценность и самоцель. Всё это, вероятно, просто еще одна форма субъективных желаний, определенное психологическое преломление практической целесообразности. В противоположность тому, маммонизм означает перерастание указанного феномена в объективную и метафизическую данность — в преклонение перед деньгами и денежным достоинством вещей, вне всякой зависимости от практической пользы и личных надобностей. Говоря о подобных явлениях, приходится прибегать к парадоксальным заострениям, чтобы сделать их различимыми в хаосе душевной деятельности; ведь в реальности они никогда не проявляются совершенно изолированным образом. Подобно тому, как по-настоящему набожный человек молится своему Богу (то есть

не только потому, что он чего-то желает или на что-то надеется, а совершенно независимо от субъективных стимулов, — просто потому, что это Бог, абсолют, которому следует поклоняться в силу самой его сущности), так и маммонист самоотверженно, так сказать, из чистого благоговения, поклоняется деньгам и успеху, выражающемуся в деньгах. Пусть этот феномен на деле всегда сочетается с обычной жадностью или желанием удовольствий, однако то, что он вообще существовал и что в наших больших городах это превращение золотого тельца в трансцендентное существо, этот идеализм денежного оценивания стали характерной чертой, казалось мне значительно более ухищренной и глубоко лежащей опасностью, чем разные более материалистические, более собственнические побочные явления денежного хозяйства. В феномене маммонизма пусть не денежное хозяйство как таковое, но во всяком случае его сегодняшние перегибы разоблачают себя и готовят себе смертный приговор, и мне кажется, что теперешний кризис нашего хозяйства приведет этот приговор в исполнение. Уже потому, что на долгое время и резко сократятся незаработанные доходы. А если мои наблюдения меня не обманывают, никто не поклоняется деньгам более искренне и самоотверженно, чем тот, кто их не зарабатывает деятельностью. Величайшей угрозой был для нас не непосредственный материализм, а его преломления во всевозможных идеологиях эстетического, мировоззренческого, этического характера. Однако потрясения последнего времени сделали для многих совершенно очевидным, что частичная правота марксизма — идеальные ценности являются «надстройкой» материальных интересов — сегодня обращается в противоположное утверждение: все материальные ценности сейчас являются всего лишь надстройкой по отношению к глубочайшим душевным ценностям, идеальным решениям и решимости. Готовность Германии к жертвам в области экономики означает ничто иное как то, что материальные ценности встраиваются в эту новую иерархию — и для многих это оказывается внезапным ошеломлением.

То, что мы можем говорить о грядущей Германии только приблизительным (или в собственном смысле негативным) образом, как попытался сейчас сделать это я применительно к одному единственному пункту (маммонизм), и то, что позитивный прогноз невозможен, — это сегодня означает неохватное, еще не обращенное в чеканную монету богатство. Не стану отрицать: только в последние годы и последние недели у меня появилась эта вера. Долгое время перспектива войны с Францией соединялась для меня с устрашающей мыслью: у Франции будет *идея*, с которой она вступит в эту войну. Реванш был в своем роде моральной идеей, дававшей цель, единство, опору той Франции, что во многих других отношениях была непрочной, внутренне разваливающейся. Националистический идеализм питал определенный, пусть очень тонкий, высший слой французской молодежи; глядя на нее, в последнее время можно было наблюдать несомненное мужание — в том, что касается

серьезности, глубины, моральной силы. Было совершенно ясно: реванш означал для Франции не материальный и территориальный интерес, не простое славолубие и болезненный тик тщеславия; нет, он был идеей, под знаменем которой соединилось (за исключением социалистических стремлений) почти все, что могла явить миру Франция в отношении мужской силы и практического идеализма. Так вела нас «идея» в 1870 году: тогда она значила обретение немецкого единства, окончательное воплощение мечты идеалистов. Но что бы ныне могли мы предложить равного той прежней нашей идее или французской идее реванша? Казалось, ничего позитивного — всего лишь защиту того, чем мы уже владеем; никакой ясной и зримой цели, чего бы еще хотели мы добиться в войне с Францией. Поэтому мне казалось, что Франция превосходит нас этим фактором огромной душевной силы. События, в которые — на противной нам стороне — оказалась вовлечена не одна Франция, но и весь мир, открыли для меня нечто иное, новое. Решусь утверждать: большинство из нас лишь теперь пережили то, что я бы назвал *абсолютной ситуацией*. Все те обстоятельства, в которых нам приходилось действовать прежде, имеют в себе что-то относительное; там все решает обдуманное взвешивание «более» или «менее»; подобные обстоятельства всегда обусловлены чем-то извне. Но сейчас все это больше не имеет значения, и мы — со всем нашим сознанием опасности, со всей нашей готовностью вложить силы и пожертвовать собой — стоим перед абсолютным решением, которое не допускает никакого взвешивания жертвы и выигрыша, никакого «если» и никаких «но», никакого компромисса, никакой количественной оценки. Перед лицом того чудовищного, чего никогда не могла бы принести нам война с одной Францией, а дает только та война, какую мы ведем сегодня, мы наконец обретаем *идею*. Ибо вопрос о *существовании или несуществовании Германии* не может быть решен при помощи рассудка рассудительных людей, не может быть решен путем всегда лишь относительных, рассудочных взвешиваний — но в то же время не может быть решен и детской душой. Здесь решает исключительно (даже для того, кто ни разу не слышал или не понял слова «идея») та высшая инстанция нашего существа, которую Кант называет «способностью к идеям», то есть способность постигать безусловное. Ибо все отдельное и условное, что определяло нас прежде, лежит уже позади, ниже нас: мы стоим на почве *абсолютного*, — в иных обстоятельствах жизнь позволяла это лишь очень немногим из нас (или требовала от очень немногих).

Этого нашего внутреннего состояния, по-видимому, не понимают за границей, — этим и вызвано наше одиночество в Европе. То, что наши нужды и необходимость защищаться обусловлены простой необходимостью дальнейшего физического и экономического существования, но в то же самое время мы защищаем то высочайшее душевное и идеальное, что мы только имеем, — чтобы осознать это, нужно, наверное, самому стоять в центре

переживаемых событий. Очевидно, только исходя из этого переживания можно понять нерасчленимое единство обеих этих составляющих — именно ту абсолютность нашего положения, о которой я говорил выше. Другие, смотрящие на дело со стороны, пытаются сконструировать и взвесить это положение всего лишь исходя из отдельных интересов, нужд и оценок.

Позволю себе еще одно указание в том же направлении. Я упомянул, что «идеей», во имя которой Германия сражалась и победила в 1870 году, было достижение немецкого единства и сейчас у нас нет сопоставимой идеи, какую можно было бы обозначить столь же простым и доходчивым *словом*. Но если смотреть в суть вещей, можно сказать: то, что мы переживаем сегодня, это и есть настоящее *исполнение и свершение 1870 года*. Приходится заново бороться за свою империю, но бороться как бы на новой ступени, в более высоком смысле, — причем вовне это проявляется лишь в том, что империю приходится защищать. Воздвигнуть ее надо не как тогда, из еще-не-бывшего, а из ее собственной действительности — действительности, которая пока есть только возможность, только материал (как сделали это ясным для многих последние дни). В 1870 году мы думали, что добились решающего, но сейчас мы видим: это была промежуточная стадия! Именно в большие поворотные моменты жизни явственно проступает ее характер: быть развивающимся процессом, как в историческом, так и в метафизическом отношении. То, что казалось готовым, завершенным, оказывается чем-то промежуточным, потенциальным, строительным материалом для чего-то нового и высшего, и даже плод являет себя как семя. В тот год родилась империя, сегодня она перешагивает — и это мы сознаем лишь сегодня — из возраста юности в возраст зрелости, с новыми задачами, страшными опасностями и неведомой прежде ответственностью, сопровождающей этот переход.

Попробую показать это на примере еще одной линии рассуждений, исходя опять-таки из экономического момента. <...> К 1870 году у нас накопился неохватный потенциал экономических возможностей, который с основанием империи обратился в действительность и тем самым обеспечил возникновение совершенно нового аспекта Германии. Ныне встает вопрос: обладает ли новая Германия подобным потенциалом энергии, которому вновь может дать выход идущая война — и таким образом вновь положить начало иной, грядущей Германии? Возможностей такого рода доказать нельзя, и я думаю, что утвердительный ответ способно произнести только живущее во многих из нас чувство. Различие состоит лишь в том, что тогда речь шла о хозяйственных возможностях, а сегодня речь идет о духовных. С некоторых пор духовные течения в Германии — пусть даже фрагментарно, пусть с околичностями и издали — более или менее осознанно устремляются к идеалу *нового человека*. Тот слой, в котором получила развитие эта мысль, начал складываться, если я

правильно вижу, около 1880 года. Кто к этому времени уже сформировался в духовном плане, того эти стремления не затронули; но тот, кто в ту пору еще находился в процессе становления, на того оказали свое влияние Ницше и социализм, натурализм и новое понимание романтизма, Рихард Вагнер и техника современного труда, возрождение метафизики и религиозности, а также специфически современная эстетика жизненного уклада, сотканная из овнешнения духовного и одухотворения материального. Не так важно, до какой степени принимал или отвергал каждый отдельный человек все эти элементы: все равно он так или иначе относился к каждому из них, делая их позитивными или негативными факторами своей внутренней структуры. Он стал современным человеком, однако еще не *новым человеком*, к которому устремлены сейчас наши надежды. Но он готовит для него почву; уже сложился тот слой людей, хаотичные стремления и чаяния которых устремлены не на единичное существование или обладание, а, напротив, объединены идеей совершенно нового человека. Это не единичный, конкретно возможный человек (я говорю здесь не о каком-то мессии), а именно надъединичная идея, подобная той, какою была идея «естественного человека» Руссо, который тоже не мыслился как выглядящий каким-то одним, определенным образом и реализующий в себе новое понятие, однако в нем с чудовищной реальной действительностью слились воедино всевозможные чаяния и оценки XVIII века. Если рассматривать каждое идеальное порождение само по себе, выяснится, что для Людвиг Франка^[2] новый человек выглядел совсем иначе, чем выглядит он для Штефана Георге^[3], а для Оствальда^[4] иначе, чем для Ойкена^[5]. Но дело ведь не в этих различиях, а в том, что надежды, труд, идеалы связываются с мыслью о новом человеке. Целью здесь является не просто совершенное овладение той или иной способностью, — нет, создается новая эпоха, для которой новообразованным идеалом является человек во всей полноте его существования; такой идеал большого стиля не часто встречается в истории: у стоиков, в павлианском христианстве, в эпоху Возрождения, а менее решительным образом — в эпоху Просвещения и революций XVIII века. Теперь мы знаем: не множество вещей должно стать иными — измениться должен человек как целостность. Мы не знаем, в каком смысле он станет иным, и хотели бы оставить в стороне все утопические излишества. Но в самой структуре нашей сегодняшней духовности мне видится залог того, что Германия опять несет в своем чреве великую возможность. С первых дней войны нами владеет чувство: Германия или перестанет существовать или станет иной, — и вряд ли случайно то, что это чувство созвучно тем внутренним приготовлениям, о которых я говорил выше. Пусть все эти приготовления были смутными и противоречивыми, но именно в их множественности и неясности скрывается такое богатство, в котором единство и многообразие не противоречат друг другу. Помимо всех отдельных, достигнутых или еще не достигнутых целей в науке и технике, в искусстве и

социальной организации в настоящий момент перед немцами встала как цель некая целостность — желанный новый тип человека. Целостность этого нового людского типа, как и то, что преобразование совершилось в самих корнях человеческого существования, а не в каких-то отдельных его ответвлениях, будет проявляться именно в том, что на феноменальном уровне новый человек, возможно, не будет особенно отличаться от прежних людей, и тем не менее он будет новым человеком и по своему субъективному настрою, и по своему объективному смыслу. Возможно, понятие «цель» здесь даже не у места: подразумевается не что-то ясно предусмотренное, определенный образ, который нужно планомерно реализовать, а некий изнутри стимулируемый рост, органическое становление, хотя и совершающееся не без собственного труда — ибо труд является неотъемлемым элементом процесса человеческой жизни, природной силы его самоформирования. Стало быть, новый человек стоит для нас не под знаком цели, а под знаком глубокой внутренней уверенности, под знаком надежды, внушаемой нашим сегодняшним бытием. И именно потому, что когда мы говорим о новом человеке, наши понятия об идеалах опять устремляются к некоему целому, этот образ не рушится из-за многообразия и противоположности отдельных его определений; даже если бы ни одно из этих определений не стало общим для всех, все мы (безразлично, можем ли мы оправдать это на понятийном уровне или не можем) все равно имели бы право сказать: мы все вместе ищем нового человека и уповаем на него. Многочисленные высказывания умнейших и духовнейших людей Германии, сколь бы различным образом не формулировали они свои мысли, всегда обнаруживали для меня одно сознание, одно чувство: что смысл этой войны отличается от смысла других войн, что у этой войны есть некая, я бы сказал, таинственная внутренняя сторона, что ее внешние события коренятся в трудно поддающейся словесному выражению, но оттого не менее надежной глубине души, надежды, судьбы — или устремлены к этой глубине. Я хочу всего лишь попытаться истолковать это чувство, когда говорю о новом человеке как об идеале, который постепенно уже начал вбирать в себя и перестраивать прежние жизненные цели, — однако лишь эта война распахнула врата к более ясному и полному надежды созерцанию этого идеала, врата, которые иначе еще долго оставались бы закрыты. То, что обновление нашего внутреннего существования, которое все мы ощущаем как ведущий в будущее, глубочайший смысл этой войны, устремлено не к улучшению нашего положения, не к возрастанию каких-либо единичных ценностей, а к единству и целостности каждого, — всё это нашло свое выражение и условие в том, что и наш *народ* лишь с началом этой войны наконец стал единством и целостностью — и в этом качестве делает шаг в пределы иной Германии.

(Пер. с нем. яз. и примеч. Г. Е. Потаповой)

Примечания

Переведено по изданию: Georg Simmel. Deutschlands innere Wandlung // Simmel G. Gesamtausgabe. Hg. von Otthein Rammstedt [u. a.]. Frankfurt a. M., 2003. Bd. 15. S. 271–285 (ср. там же комментарий Уты Кёссер, Ханса-Мартина Крукиса и Отхайн Раммштедт, S. 522–523).

Георг Зиммель (1858–1918) — немецкий философ и социолог; основатель школы «формальной социологии»; видный представитель философских течений «философии жизни» и «неокантианства».

Речь о «внутреннем преображении Германии» была впервые напечатана отдельным изданием в декабре 1914 г.: Georg Simmel. Deutschlands innere Wandlung. Straßburg: Karl J. Trübner, 1914. Брошюра представляла собой обработанный текст лекции, с которой Зиммель выступил в серии докладов, организованной Страсбургским университетом в начале зимнего семестра 1914/1915 г. Каждый из профессоров должен был, исходя из перспектив своей собственной научной дисциплины, выбрать тему, непосредственно касающуюся текущей войны, и дать ее изложение на общедоступном уровне. Кроме Зиммеля, в курсе лекций приняли участие профессора: филолог-классик Эдуард Шварц («Война как переживаемое всей нацией событие»), историк Гарри Бреслау («1813 – 1870 – 1914»), историк Мартин Шпан («Текущая война и прежние решающие сражения великих держав»), медик Николай Гулке («О лечении военных ранений») и юрист Август Зигмунд Шульце («Размышления о войне с международно-правовой точки зрения»).

Позже, с незначительными переделками, статья вошла в книгу Зиммеля «Война и духовные решения» (Georg Simmel. Der Krieg und die geistigen Entscheidungen. München; Leipzig: Duncker & Humblot, 1917), включившую в себя еще три его статьи 1915–1916 гг.: «Диалектика немецкого духа» («Die Dialektik des deutschen Geistes»), «Кризис культуры» («Die Krisis der Kultur») и «Идея Европы» («Die Idee Europa»).

Готовя к изданию книгу статей 1917 г., Зиммель уже знал о готовящейся эвакуации немецкого университета из Страсбурга и предчувствовал военное поражение Германии. В книге он еще сильнее, чем было это в его первой статье военного времени, сосредотачивает свое внимание на том, чтобы по крайней мере приблизительно обозначить те тенденции, которые могут стать определяющими для послевоенного будущего Европы. В книге Зиммель пытается предостеречь Германию от изоляции и самоизоляции после завершения войны; иначе Европа как целое будет, по его мысли, окончательно разрушена. Развиваемые Зиммелем идеи общеевропейского будущего (уже в некоторых его газетных публикациях 1915 г.) привели к тому, что по указанию вице-губернатора Страсбурга, генерал-лейтенанта фон Фитингхофа-Шеля, против Зиммеля возбудили дело в связи с «не-немецким

поведением», которое, однако, вскоре было прекращено, поскольку чего-то «враждебного немцам» в его статьях усмотрено не было.

При всем своем стремлении сохранить «идею Европы» как политическую и культурную идею, Зиммель в ходе войны все более проникался сознанием того, что прежняя европейская культура XIX и начала XX века разрушена, а контуры иной культуры, которая придет ей на смену, пока трудно угадать. После того, как в общеевропейскую войну вступила также Италия, он писал Маргарете фон Бендеманн 27 мая 1915 г.: «Я как раз обдумывал дату моей поездки в Цюрих, когда Италия – . Теперь идея Европы рушится еще бесповоротнее, чем я предполагал; старая европейская почва, по которой мы так уверенно ступали, расколота такими пропастями, что не знаешь, не упадешь ли в какую из них, сделав ближайший шаг» (Simmel G. Gesamtausgabe. Frankfurt a. M., 2008. Bd. 23. S. 524).

Печаль о «потерянной Европе» является сквозным мотивом многих писем Зиммеля военного времени. С особенной ясностью и силой он развивает свои размышления о войне как «самоубийстве Европы» в письме к графу Германну Кайзерлингу 25 марта 1918 г.:

«...Не только реальность, но и *идея* Европы исчезла, потому что, в конце концов, эта идея не является вневременной, подобно идее человечества или идее красоты, а является исторической идеей. <...> Несмотря на это, можно было бы утешать себя по крайней мере надеждой, что она через многие десятилетия возродится опять, пожалуй в другом обличье, — но это только если бы не было Америки. Потому что я убежден: в конечном итоге эта война ведется на благо Америки <...>; убежден в том, что стрелка часов истории оборачивается на Запад, подобно тому, как однажды она уже сместилась из Азии в Европу; убежден, что по прошествии некоторого времени Европа будет для Америки тем, чем Афины стали для Рима, — целью путешествий для молодежи, желающей подучиться в культурном отношении, местом путешествий, полным интересных развалин и великих воспоминаний, поставщиком ученых, художников и умных болтунов. В своем ослеплении наши враги не видят того, что, продолжая войну, они прямо-таки навязывают Америке роль *tertius gaudens* [третий радуется. — Г. П.] и что всякое заключение мира, будь оно выгодным или невыгодным для каждого в отдельности, уменьшило бы эту чудовищную опасность; что каждая граната, которую Америка поставляет Англии, рано или поздно сразит сердце самой Европы.

При этом я не сторонник того мнения, что все это совершенно неизбежно. Если бы после войны европейцы продолжали держаться сообща, если бы возобладала та мысль, что эта война — общая судьба для всех сторон, что залечить ее раны должно быть нашим общим делом, в ходе которого все мы будем помогать друг другу, — тогда бы я мог думать, что по крайней мере на ближайшее будущее Европа может тягаться с Америкой. Но сейчас, при повсеместно царящей ненависти и самоуничтожении Европы (планируемом и на период

после заключения мира), я не вижу никакого выхода.

Конечно, можно было бы, до известной степени, занять наднациональную точку зрения и сказать себе: если однажды возникнет американская мировая культура, формы которой мы можем вообразить себе столь же мало, как египтяне Древнего Царства могли вообразить себе формы современного государства, то в этом, собственно, нет причин для сожалений. Отчего бы Европе должна была принадлежать, в культурном смысле, привилегия бессрочной наследственной аренды?» (Simmel G. Gesamtausgabe. Frankfurt a. M., 1999. Bd. 16. S. 430–431).

Не лишне заметить, что в данном виде цитируемый фрагмент письма от 25 марта 1918 г. приведен лишь в примечаниях к 16-му тому указанного выше полного собрания сочинений Зиммеля, содержащему в том числе текст книги «Война и духовные решения» (комментарии Г. Фитци и О. Раммштедт, S. 428–431). Хотя в примечаниях было указано на то, что полный текст письма будет помещен в 23-м томе того же издания, однако в составе названного тома писем Зиммеля это письмо помещено в другом, гораздо более кратком виде, где все пункты, касающиеся Америки, едва намечены (или элиминированы). Источник текста обозначен в примечаниях к 23-му тому как позднейший список с письма, полученного Кайзерлингом. Никаких указаний на более пространную черновую редакцию, из которой, как можно предположить, были заимствованы пассажи, приведенные в примечаниях к 16-му тому, комментарий к переписке, к сожалению, не содержит (Simmel G. Gesamtausgabe. Frankfurt a. M., 2008. Bd. 23. S. 926–928; комментарий О. и А. Раммштедт).

[1] Обетт (l'Aubette) — старинное классицистическое здание на площади Клебер в Страсбурге (сооружено в 1764–1767 гг. по проекту архитектора Ж.-Б. Клоделя). После того, как пострадавшее во время Франко-Прусской войны 1870–1871 гг. здание было восстановлено, в нем до Первой мировой войны помещалась консерватория и большой концертный зал.

[2] Людвиг Франк (Frank; 1874–1914), политик и общественный деятель, один из наиболее выдающихся социалистов-реформистов предвоенной Германии, теоретик молодежного рабочего движения.

[3] Штефан Георге (George; 1868–1933), выдающийся немецкий поэт; собрал вокруг себя большую общину учеников; проповедовал будущее перерождение общества на основе идеи «духовного аристократизма».

[4] Вильгельм Оствальд (Ostwald; 1853–1932), выдающийся немецкий химик и натурфилософ. Оствальд рассматривал «материю» всего лишь как одну из форм постоянно преобразующейся «энергии»; развивал философское учение, обозначавшееся им как

«энергетика» и отчасти продолжавшее идеи Э. Маха и О. Конта.

[5] Рудольф Ойкен (Eucken; 1846–1926), немецкий религиозный философ, автор многочисленных книг, в том числе: «Борьба за новое духовное содержание жизни» (1896), «Основные линии нового жизнепонимания» (1907), «Смысл и ценность жизни» (1908). Особенно большой популярностью Ойкен пользовался в Швеции, благодаря интересу короля Оскара II к его работам; в 1908 г. получил Нобелевскую премию в области литературы.